

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава первая

ДИТЯ СТАРОГО АРБАТА

Послевоенная Москва, охваченная радостью Победы, когда житейские невзгоды практически не замечаются, когда воодушевление, вера в будущее, убежденность в справедливости всего свершившегося живут в умах и душах людей... В этой послевоенной Москве живет старшеклассник, записывающий в своей заветной тетради вдохновлённое победоносным воздухом и – задержанное цепкой памятью, выношенное, зорко подмеченное...

“Эта улица так близка, так шевелит и сжимает что-то внутри. Ведь это словно Москва сто лет назад – Москва, отблеск которой еще теплился в детстве, разыгранном между Хамовниками и Плющихой. Местность эта, в отличие от более близких к центру Арбата или даже Пречистенки, как-то задержалась в прошлом веке. Правда, в нее вторглись еще в девяностые годы закопченные кирпичи и трубы текстильной фабрики. Но все же сгрудились здесь дикие переулочки, одухотворенные красотой умирания. Мир расширялся постепенно, дом за домом. Сначала только двор (как поразила его малость и теснота уже в юношестве, после пятилетней разлуки), который был полон людей и вещей, который запылился вечером на засов, (оставляя за воротами) тревожную чужую темноту... Потом переулок с несколькими вязами и булыжной мостовой, из-под которой выбивались чистые стрелки травы.

Необъятное Девичье поле (его кустарники не выросли, а становились все ниже). И вот уже многообразный мир – в одну сторону он тек до Плющихи, за которой, по слухам, близко была Москва-река, в другую – до Садовой, с ее еще не сведенными бульварами; в третью – до Ружейного (на нем находилась Консультация, где испытаны первые страдания прививок и уколов), в четвертую – Девичье поле и за ним – уходящая вдаль к сверкающим главам монастыря Пироговка.

Вскоре, конечно, довелось перешагнуть за эти границы, но они долго (были всем миром) были чем-то вроде границ мира, – во всяком случае границами родины.

В середине тридцатых в этот тихий мир вошла, как клин, современность. Строили Военную академию – громадное здание с танком на левой крыше.

Это было чудо и радость. Как будто около самого дома сел самолет (что может быть прекраснее и волшебнее!). Мальчишки называли здание “военкой” или “воешкой”, но в этих жаргонных словечках была мужественная нежность и любовь”.

Шестнадцатилетний юноша пишет роман. Точнее, не роман (“пожалуй, слишком смело”, – останавливает он себя), а как он сам характеризует, – “повесть среднего размера. Или, лучше, маленький роман – совсем крохотный – страниц на сто”. При этом думает о главном герое – Саше – “о его судьбе, о других героях и их сложных отношениях с Самим...” (запомним эти “сложные отношения”!). Герой лавирует, двоятся, ускользает, автор чувствует “какую-то фальшь”, потому что никуда не деться – пишет он о самом себе. Образ героя, его голос никак не отделяется от образа и голоса автора. “И все же это не я. Нет, это он, это мальчик, ему еще нет двадцати или немного больше. Он крепче, проще и чище меня. У него есть что-то непонятное, мистическое. Когда измеряют площадь круга, геометрия не может точно. Она констатирует многоугольник с неисчислимо большим количеством граней, многоугольную площадь, бесконечно приближающуюся к площади шара. И все же это не шар. И можно определить все, что ни есть в человеке – знания, силу, способность быстро решать задачи, запоминать... Но что-то останется...”

Сложность возникающего в воображении внутреннего мира не дается. Единственный выход – во внешний мир, в московские улицы, переулки и дворы, где история и современность существуют еще неразрывно, даром что современность властно отвоевывает свое. Вторгаются в повествование и прочитанные книги – впечатления от них ложатся на отдельную страницу.

“С чего это началось? Еще в детстве? Или где-то на рубеже, когда начинают мыслить и это волнует так, как потом, чуть позднее, когда впервые прижимаешься щекой к виску девочки? Как вспомнить начало – возбужденную взбудораженную радость от того, что вдруг постигаешь законы в простой однообразной последовательности чисел. Или большее – гармонии в далеких друг от друга цифрах, которые до того только мельтешили в воображении...”

А потом попадает в руки какая-то спорная ученая книга, к которой и не подступиться, но на первой же странице слова философа, жившего почти три тысячи лет назад: “В основе мира и его красоты царит число”.

А потом радость и чувство легкости, словно можно танцевать и играть предметами, как волшебник жонглер, потому что никто в классе не может так решить задачи. И вот все еще, надсадно зевая и потягиваясь, сидят по вечерам над пустыми, как детские ребусы, уравнениями, и у одного из учеников, в общем-то не очень чтимого, на столе две стопки книг с божественно высокими словами на обложке – интеграл и дифференциал. И строка про стальные машины, в которых дышит интеграл, вызывает иронию и в то же время удовлетворение – вот призвание поэта, который смел необходимым впустить в свои безгранично прекрасные стихи это слово вместе со словом “интернационал”...

Боже, какой восторг! Так и видишь склонившегося над тетрадь мальчишку, для которого в едином прекрасном и яростном мире сливается Москва в ее исторической и современной самости, и красота чисел (никто так решит в классе задачу, как он – в своем домашнем уединении), и блоковские строчки... И думаешь о нем, как о будущем математике, отнюдь не сухаре, которому ведомо чувство прекрасного во всем. И не ведаешь, что, стоя у доски, он с трудом вспоминал формулы, а о математике после школы забыл на долгое время. Ибо иное призвание поменяло всю судьбу, повлекло за собой мощным неостановимым потоком. Литература! Тайна жизни в художественном слове. Голос автора и голос его героя – загадка их взаимодействия. Полноценность бытия в повести, романе, стихотворении, воплощение в них той реальности, что осмысляется наравне с реальностью земной.

Ведь практически одновременно с романом пишутся стихи. И ведется дневник, отражающий становящуюся читательскую биографию.

“4 февраля 1945 г.

За время с 30 января достал книги: “Народная энциклопедия. Т. VIII (литература)”, “Робинзон Крузо” – Дэфо, “Тихий Дон”, кн. III (I и II были). Задумал писать “Историю литературы в России в Елизаветинскую эпоху”. Приступил вчера, сегодня (если не выключат свет) буду продолжать. Недавно мне захотелось изучить литературные стили. Сейчас я напишу их здесь в хронологическом порядке.

Пишу только средние века и новое время.

I Византийское искусство V в. Св. София в Царьграде.

II Романское искусство X в. Базилики?

III Готическое искусство XI в. Нотр-Дам.

IV Возрождение XIII в. Дворец сеньории?

V Барокко XVII в. Собор св. Петра в Риме.

VI Рококо XVIII в. Кажется, есть какое-то большое здание в Париже. Забыл.

VII Ампиризм начало XIX в. Большой театр?

VIII Модернизм конец XIX в.

Ну, вот и всё. Сейчас принимаюсь за Елизавету.

18 февраля 45 г.

За Елизавету ещё не принимался. Здорово живёшь! Всё некогда: по вечерам не горит свет!!!

Расскажу о сделанном за время с 4 по 18.11. 15.11 принял деятельное участие в пионер. слёте Ленинского района. Достал книги: 1) “Русская (одно С!) История Глинкина” 1823 г. издания (Петровские и Елизаветинские времена); 2) Хрестоматию по Зап. Европейской литературе (средние века). Прочитал книги: 1) А. Франс “Съестная лавка королевы”; 2) Рассказы Лескова; 3) Ферсман. “Воспоминания о камне”; В. Скотт “Граф Роберт” ч. 11; 5) “Из жизни вагона” Клетцеля и др. Из “Народной энциклопедии” достал Исторический том (полutom II “Русская история”). Написал стихотворение “Тыл и фронт”. Отдал его в школьную стенгазету.

23.11.45 г.

Достал книги: Мольер и Чехов (из серии “Жизнь зам. людей”, решил собирать литерат. часть серии. Написал большое сочинение по географии: “Крым”. Кажется, получилось ничего. Купил неплохую книгу “Русский фольклор”. Автор — акад. Соколов. Очень полная книга. Много хороших иллюстраций.

Прочитал много рассказов Чарльза Робертса. С чувством написано!”

Звали этого школьника Вадим Кожин.

* * *

Он родился 5 июля 1930 года в семье инженера и домохозяйки. Детство прошло на Арбате, в 5-м доме на Большой Молчановке. Характерный штрих: маленького Вадим крестили в церкви Симеона Столпника на углу Поварской, что выходила на Большую Молчановку в район Собачьей площади, уничтоженной в начале 1960-х годов. Церковь эта в 1930-е годы подлежала неукоснительному сносу во время фундаментальной “реконструкции” старой Москвы. Лишь каким-то чудом и стараниями знаменитого архитектора П. Барановского (с которым Кожин встретился через много лет в Обществе охраны памятников истории и культуры) она уцелела. При этом надо заметить, что родители (как и абсолютное большинство того поколения) были убежденными атеистами. Можно предположить, что таинство крещения младенца было совершено в тайне от них бабушками Вадима при участии няни и домработницы.

Нельзя не сказать несколько слов о том районе Москвы, где родился и вырос Вадим Валерианович. Об уникальной площадке в центре столицы, на которой стояли дома, где в своё время жили или часто бывали Александр Пушкин, Алексей Хомяков, Николай Гоголь, Сергей Аксаков, Михаил Лермонтов...

Впрочем, пусть Кожин скажет об этом сам. Через тридцать с лишним лет он опубликует в “Комсомольской правде” статью “Между Бульварным и Садовым”, в которой расскажет об удивительном мире арбатских переулков, где состоялось начало его жизни, где лёгкие вдохнули воздух старой эпохи.

“Сто пятьдесят — сто двадцать лет назад эта часть Москвы была настоящим средоточием духовной жизни России. Трудно даже перечислить имена всех выдающихся деятелей русской культуры того времени, жизнь и деятельность которых нераздельно связаны с местностью вокруг Арбатских и Никитских ворот... Здесь собирались любознательные и кружок Станкевича. Здесь возникли западничество и славянофильство...”

Сеть переулков вокруг Арбата — неповторимый и по своему значению и по самому своему облику район Москвы. После 1812 года здесь преимущественно селилось среднее дворянство — тот общественный слой, из которого вышли крупнейшие представители тогдашней русской культуры...

В тихих переулках и на бульварах стояли — да и сейчас ещё немало их — небольшие скромные дома в один-два, реже три этажа. Но располагались они свободно и привольно. При некоторых был сад или даже огород, по бокам домов лепились флигеля и хозяйственные постройки. Проезды к домам часто не

определялись заранее, а, напротив, подчинялись расположению дома. Так образывались причудливо изогнутые, самые разнообразные по длине и ширине переулки и тупики. До сих пор можно видеть дома, так и не подчинившиеся геометрии улиц. И несмотря на это отсутствие “порядка” (а может быть, именно благодаря отсутствию строгих правил), архитектура переулков вокруг Арбата обладала подлинным обаянием и художественной ценностью. И отдельные дома, и ансамбли свидетельствовали о высокой культуре и эстетическом вкусе и тех, кто их построил, и тех, кто в них жил.

В этих переулках господствовал глубоко своеобразный архитектурный стиль – так называемый московский ампир. Он не имеет, в сущности, ничего общего со стилем ампир как таковым – суровой государственной архитектурой наполеоновской эпохи... Московский ампир – это самобытный, неповторимо русский (и даже собственно московский) архитектурный стиль. В самой структуре этих домов со сложными пристройками, с их пространственным привольем есть немало черт, восходящих к древнерусскому деревянному зодчеству... композиции изб и теремов... Сами античные приемы и мотивы в московском ампире предстают в существенно переосмысленном виде...

Архитектурный мир арбатских переулков с замечательной верностью и выпуклостью воплощал человеческое своеобразие тех, кто жил в этом мире. Облик этого мира резко отличался от облика официальной архитектуры той эпохи, несмотря на сходство отдельных приемов и деталей. В нем выражалась и внутренняя духовная свобода, и глубокая культура, и сознание истинных, а не мнимых человеческих ценностей, и проникновенное чувство изящного. Дома имели что-то общее – и в то же время были поразительно индивидуальны...

Перед революцией не меньше трети этого района было уже застроено серыми громадами, приобретшими, правда, со временем особое мрачноватое обаяние. Затем долго арбатские переулки оставались нетронутыми. Те, кто бродил по ним перед войной, ещё достаточно могли себе представить себе их облик в эпоху Пушкина и Гоголя...

Многое в разум и душу мальчишке было заложено этим миром, который окружал его с младенчества. Не приходится удивляться, что он, живя, как сам говорил, “в сущности, в “прошлой” Москве”, “с ранних лет... ценил такие явления из “прошлого”, которые не вписывались в новый строй бытия и сознания. Позднее, к 14–15 годам, я уже хорошо понимал, что дело обстоит именно так: “прошлое” во многом ближе и дороже мне, чем советское “настоящее”...”

В свое время в разговорный обиход вошло выражение “дети Арбата” (так, в частности, известный советский писатель Анатолий Рыбаков назвал свой нашумевший роман, о котором Кожинов напишет одну своих самых громкоподобных статей). К этой прослойке (а это была именно прослойка!) относили тех, кто заселил саму улицу (до революции носившую имя святого Николая), арбатские улочки и переулки в 1930-х годах. Как правило, это были семьи из провинции и еврейских местечек (согласно Краткой Еврейской энциклопедии, изданной в Иерусалиме, “сотни тысяч евреев переселились в Москву, Ленинград и другие центры”. При том, что с 1917 по 1939 год население Москвы увеличилось в два с половиной раза, ее еврейское население к 1933 году составляло 226,5 тыс. человек – для сравнения в 1926 году – 131 тыс. человек). “Дети Арбата” – это люди, объединенные даже не местом жительства, а вполне определенным мировоззрением, неотъемлемой частью которого были апология мировой революции, безусловная р-р-революционность в отношении всего окружающего, включая остатки старого быта, старой культуры и всего старого уклада. В этом отношении Вадима Кожинова можно определить, как “дитя старого Арбата”, при том, что это “дитя” жило полноценной современной жизнью, интуитивно, природно не разделяя историю и современность. Тут самое время поговорить о его родословной.

* * *

О родителях своих Вадим Валерианович вспоминал немного и не часто. Лишь в конце жизни он предпринял попытку написать историю своей семьи в контексте истории России XX столетия. В частности, подчеркнул, что сам родился в семье, создавшей по принципу м е з а л ь я н с а, ибо отец Валериан

Федорович был сыном фельдшера Главного артиллерийского управления Ф. Я. Кожина, а мать — дочерью действительного статского советника В. А. Пузицкого. И Вадим Валерианович почел особо отметить, что эта жена — ба “могла иметь место, очевидно, только благодаря Революции”. Воспоминания об отце и матери, естественно, были штрихом в общей картине прошлого, которую Кожин на склоне лет пытался воссоздать с возможной тщательностью — приметы прошедшего времени он воспринимал как органическую часть общей истории России. Не без горделивости писал он о своем роде:

“Подчас я живо ощущаю под собой широко раскинувшуюся “корневую” систему; взять хотя бы прадедов — крестьянин Псковской губернии, мещанин из Рязска, женившийся на купленной им крепостной девушке, мещанин городка Белый и московский священник... Словом, чуть ли не вся основная Русь — ее север, юг, запад и центр...”

Одна из его незаконченных рукописей носит симптоматичное название: “Детство. Феномен двора”, воплотившая самые ранние воспоминания, которые “относятся к 1933–1934 годам. Помню, как моя мать с домработницей едут в популярный тогда “Серпуховской универмаг” (рядом с нынешней станцией метро) за “мануфактурой” и берут меня с собой, так как эту самую мануфактуру (и конечно многое другое) “давали” тогда на одного покупателя в небольших количествах, а ребенок также засчитывался в качестве покупателя. Запомнившаяся очередь начиналась на тротуаре Садового кольца весьма далеко от конструктивистского четырехэтажного здания универмага (построен в 1928 году), а, войдя в него, медленно передвигалась вверх по его лестницам...

Помню еще, как с несколькими родственниками заходил в знаменитый теперь благодаря булгаковскому роману “Торгсин” на углу Смоленской площади у Арбата, где за остатки приобретенных до 1917 года изделий из серебра выдавались боны (странно, но я слышал это слово только в то далекое время, однако оно осталось в памяти), в обмен на которые можно было тут же получить какие-либо остродефицитные товары...”

Не прошло и двух лет после коллективизации, этого поистине исторического катаклизма, карточная система, жилось очень и очень нелегко, и это касалось в том числе и семей ответственных работников, к коим относился и кожиновский отец Валериан Федорович.

Он окончил Московское высшее техническое училище (потом получившее имя Н. Баумана) в 1926 году, к середине 1930-х годов стал квалифицированным специалистом в области водоснабжения, участвовал в строительстве водопровода в Магнитогорске и Сталино, а в 1935 году был послан в командировку в США. Подобные специалисты были тогда нарасхват, но их условия жизни в столичных условиях того времени практически ничем не отличались от жизни рядовых граждан. “Моё детство прошло в квартире, — вспоминал Кожин, — в которой на 45 квадратных метрах жило 15 человек”. В этой квартире мальчишка впервые в пятилетнем возрасте увидит новогоднюю елку (этот неперменный атрибут старого православного Рождества впервые после 1917 года разрешили открыто ставить и украшать в крестьянских домах и городских квартирах). Тогда же в нашей стране произойдут поистине судьбоносные события, осознанные Кожинным через несколько десятилетий: были восстановлены в правах бывшие “кулаки”, произошла реабилитация казачества, были сняты все социальные ограничения на представителей “высших сословий” и их детей.

...А двор располагался в Новокопешном переулке между Зубовским бульваром и Плющихой, от него менее чем в двух километрах проходила Окружная железная дорога. Московский двор представлял собой ныне практически забытое зрелище: буйная зелень, несколько хозяйских огородов, бегающие под ногами куры. Какое-то туманное представление об этом мире можно еще получить в современной Москве, оказавшись в замкнутых патриархальных двориках среди еще уцелевших домов 1940–1950-х годов постройки, где хозяйки квартир, расположенных на первых этажах, в небольших огороженных палисадниках высаживают цветочные клумбы.

“На 70–80 человек, живших в моем дворе, было примерно полтора десятка детей...” Общие игры (“нынешним детям, наверно неизвестные”, — мимоходом роняет Кожин) в “казаки-разбойники”, в “чижа”, а то и запретную “расшибалочку” (мое поколение еще их помнит) были главным времяпрепровождением, и уж, конечно, подлинным событием было появление лудильщика, паяльщика, старьевщика со знаменитым кличем “Старье берем!” (они бродили

по дворам где-то до середины-конца 1960-х годов). Дети врассыпную бросались по квартирам и тащили не только старье, но и, тайком от взрослых, что-то вполне годное из обуви и одежды.

Население двора было чрезвычайно пестрым: “старый большевик-инвалид... вдова царского генерала, железнодорожный машинист, носивший почетный значок, и известный всем как вор Витька Волков, побывавший в тюрьме. Тем не менее, все были свои. Большевик не обличал генеральшу, а вор крал в других дворах. И каждый готов был посильно помочь соседям. Словом, существовал определенный лад и уют общей жизни, что без сомнения, благотворно влияло на детей...”

Одно воспоминание, пожалуй, отложилось вглубь надолго, чтобы через годы всплыть в соответствующем контексте. Вадим Валерианович вспоминал черный ЗИС, появлявшийся возле дома, выходящего из него человека в форме, в котором нетрудно было угадать высокого военного чина. Звали важную личность – Сергей Васильевич Пузицкий.

Это был родной брат матери Вадима, и своему племяннику он запомнился, как впоследствии говорил Кожинов, “смутно”. Гораздо отчетливее отложились в памяти подробности последствий его ареста.

Сергей Пузицкий с 1918 года был видным деятелем ВЧК-ГПУ-НКВД, комиссаром государственной безопасности 3-го ранга, играл одну из центральных ролей в знаменитых операциях “Трест” и “Синдикат-2”, участвовал в аресте Сиднея Рейли, Бориса Савинкова и похищении генерала Александра Кутепова, за что получил два ордена Красного Знамени. Впоследствии перешел на службу в Управление армейской разведки вместе со своим непосредственным начальником Артуром Христиановичем Артузовым.

В общем, личность легендарная. Еще большую остроту этому сюжету придаст упоминание его отца – как мы уже говорили, действительного статского советника – Василия Андреевича Пузицкого. Сын ремесленника, Василий Андреевич окончил на казенный кошт Смоленскую гимназию и историко-филологический факультет Московского университета. Все время учебы он зарабатывал репетиторством в привилегированных семьях. Через много лет его внук прочтет в дедовской записной книжке: “С 22 августа 1887 года до 1 октября в селе Мураново Московской губернии и уезда у действительного статского советника Ивана Федоровича Тютчева – 60 рублей в месяц, Ольга Николаевна, София Ивановна, Федя, Коля, Катя”.

(Дед Вадима Валериановича войдет в дом великого Федора Тютчева и будет давать уроки его внукам – встреча, имеющая, поистине, промыслительное значение. Ибо немногим менее 100 лет спустя жизнь и поэзия Тютчева станут не просто предметом пристального изучения Вадима Валериановича, но наполнят его бытие жизнестроительным смыслом.)

И это еще не всё. Василий Андреевич станет автором малоизвестных ныне, но чрезвычайно интересных книг “Жизнь и поэзия Жуковского” и “Национальное направление и религиозное настроение в поэзии Пушкина”, изданных в 1903 году, а также учебного пособия “Отечественная история в рассказах для младших классов средних учебных заведений”, выдержавшего до революции 16 изданий. Более того, он создаст свое переложение на современный русский язык “Слова о полку Игореве”.

Василий Андреевич был истово православным человеком и убежденным монархистом. Но монархистом такого рода, что его монархизм оказался не нужен самому Николаю II (история, увы, слишком часто повторяющаяся в России!). Критика Пузицким либеральных реформ Государя в начале века привела к тому, что пушкинист и гувернер тютчевского дома был уволен из 2-й Московской гимназии и отправился директорствовать в Егорьевск.

После революции Василий Андреевич не только не эмигрировал (в отличие от одного из Вадимовых дядей, который сначала ушел в Белую армию, а потом бежал во Францию; правда, после войны, где он участвовал во французском Сопротивлении – вернулся в СССР), но отказался от бойкота ненавистных ему Советов и пошел преподавать русский язык и литературу в учебных заведениях Москвы. “Я не могу допустить, чтобы русский народ был безграмотным”, – передал его слова, видимо, сохранившиеся в семейном предании, двоюродный брат Вадима Алексей.

Василий Пузицкий скончался в 1926 году. Служба сына в советских карательных органах стала, судя по всему, для него таким ударом, от которого он

не смог оправиться. Вадим Валерианович в одной из своих записей привел слова деда из записной книжки: “Сережа добрый человек и скоро вернется на путь истины, и тогда Господь благословит его на все доброе и пошлет ему благополучие во всем. А пока заблуждается во многом... Похороните меня подальше от красных”.

“Добрый человек Сережа” “на путь истины” вернуться не успел. Он был арестован в 1937 году вместе со своим начальником Артузовым и позднее расстрелян. В памяти Вадима отпечатались сцена, когда в доме уничтожались “компрометирующие” бумаги, извлекли из сундука шпагу Василия Андреевича, сломали и выбросили (каково было мальчишке лишиться подобного драгоценного предмета!). Кожинов вспоминал также, как в 1937 году его отец снимал со стены возле детской кровати и уничтожал портреты репрессированных маршалов. А во время прогулки вблизи своего дома мальчик стал непосредственным свидетелем самоубийства, очевидно, некоего высокопоставленного лица, застрелившегося на бульварной скамейке, видимо, в ожидании ареста.

Родословная всегда играет огромную роль в судьбе человека – независимо от того, осознает ее роль сам человек или нет. Интуитивная тяга к своей родословной у Кожинова была всегда. Но привести в порядок хотя бы обрывочные сведения о ней он собрался лишь незадолго до кончины.

И еще одно замечание: в последнее время некоторые корыстные (а корысть бывает не только материальная!) “исследователи”, обращаясь к предкам Вадима Валериановича, особое внимание сосредотачивали на его дяде, совершенно игнорируя биографию и судьбу деда по матери, определившую многое в жизни внука. Правда, значение деда выросло с годами. Кроме того, само по себе сплетение диаметрально противоположных по судьбам и устремлениям человеческих характеров в одном роде (и не сказать ведь, что судьба этой семьи не типична, после революции немало было таких семей!) стало для Кожинова импульсом, во многом отозвавшимся в его позднейших книгах, посвященных собственно истории России.

* * *

Вспоминаю, как Кожинов говорил мне во время одной из бесед: “В университете я был круглым отличником, у меня в зачетке не было ни одной четверки. А в школе я учился очень плохо, меня даже хотели из нее выгонять”. Приняв тогда эти слова на веру, я не думал, что они – мягко выражаясь – слегка далеки от истины.

Что касается университета – тут всё абсолютная правда. А вот что касается школы...

Его школьные ведомости довоенных лет фиксируют не просто безусловную, но именно – отличную успеваемость. Редко где и когда встречается оценка “хор”. Преимущественно – “отл.” По всем предметам.

И думается: если и вставал вопрос об исключении Вадима Кожинова из школы – то уж никак не за неуспеваемость, а, скорее всего, за поведение.

Впрочем, ни о каких подробностях он не распространялся. Кстати сказать (нечастый случай для того времени), он не стал ни октябрёнком, ни пионером. Как сам объяснял позднее – “нельзя сказать, что был вполне по-советски настроен... Правда я, как и преобладающее большинство мальчиков, был страстным поклонником Красной армии и горячо воспринимал бои на озере Хасан, участие “добровольцев” из СССР в гражданской войне в Испании, битву у Халхин-Гола и Финскую войну, в которой участвовал (в качестве простого красноармейца) младший брат моего отца, родившийся в 1916 году – Фёдор, или, как он называл себя на английский манер, Тэд. Это был мой самый любимый родственник, и мы с ним активно переписывались, пока он был на фронте”.

Сохранились в небольшом количестве письма “Тэда”, в которых он писал Вадиму:

“23.1.40 г. г. Вологда.

... Походы у нас в Красной Армии называются маршами. Сейчас марши бывают пока короткие... Двадцать первого была первая тревога и затем марш на 45 км с военной игрой (такие занятия называются тактическими)... Винтовка у меня, конечно, есть: настоящая боевая образца 1891/30 года. Я её каждый день чищу. Она всегда должна быть в полном порядке, так как не раз

может меня выручить в боевой обстановке... Морозы у нас достигали -57°C . Сейчас стало "совсем жарко" — каких-нибудь градусов 20°C мороза... С приветом. Ankel Tead (так "Тэд" писал по-английски слово "дядя". — С. К.).

"18.10.40 г.

...Надев белые халаты и лыжи, пошли в разведку на 13 км вглубь финской территории... Нас спереди неожиданно обстреляли финны из автоматических семидесятизарядных винтовок (они все вооружены ими). Мы быстро залегли в снегу и заняли круговую оборону на случай окружения. Т. к. мы, во-первых, не знали, сколько человек белофиннов, а, во-вторых, в темноте их не было видно, нам пришлось часов 5 пролежать в снегу, не шевелясь, ибо стоило только чуть-чуть зашевелиться, как финны наугад (им ведь тоже не было нас видно) пускали очередь из автомата в нашу сторону.

Нельзя было также и определить, откуда они стреляют, т. к. они стреляют разрывными пулями, которые при ударе в дерево дают звук выстрела.

Перед рассветом они усилили огонь и стали приближаться. Мы до сих пор молчали, чтобы не выдавать себя, но теперь были вынуждены стрелять. Стреляли только трое: командир, я и ещё один боец, ибо финны приближались с нашей стороны. Когда стало светать, мы усилили стрельбу, а командир кинул гранату. Они вероятно подумали, что мы будем наступать, и удрали, оставив трёх убитых и одного раненого, которого мы доставили в штаб. Так вот, вероятно, я убил одного из белофиннов, ибо он лежал как раз на том месте, куда я стрелял...

Наша часть стояла в обороне, т. е. не наступала. Мы охраняли границу СССР и ходили в разведку на финскую территорию на глубину 19 км... Снега много. Приблизительно по пояс. Без лыж человек беспомощен...

Обычно мы всегда ходили в шлеме или в тёплой меховой шапке с ушами (как у тебя). Иногда стояли на постах (в особенности на не замаскированных) в каске! Моя каска мне помогла; на ней сохранилась вмятина (между ухом и виском, только чуть выше) от белофинской пули. Жаль, что не могу тебе её показать...

Писем мне больше на старый адрес, понятно, не пиши. Когда приеду на новое место, сообщу своё местоположение. Это письмо я опущу на следующей станции, т. к. поезд сейчас отходит..."

* * *

В автобиографических заметках о предвоенном школьном времени Кожинов с воскресенным в душе восторгом вспоминал о печном ("живом и добротном") отоплении в своей квартире (печь топила бабушка): "Из сарая приносились пахнущие лесом дрова, которые после некоторых усилий разгорались и с веселым треском пылали, превращаясь в угли". Вспоминал первую новогоднюю елку, походы в кинематограф на "Чапаева", "Александра Невского" (и детские игры "в Чапая" и в русских витязей и немецких псов-рыцарей), а также эрмлеровского "Великого гражданина", после просмотра которого, как он писал через много лет, "люди выходили из кинотеатров, где демонстрировался фильм, буквально готовые растерзать любого зинovieвско-каменевско-бухаринского злодея (я учился тогда в начальной школе, но всё же ясно помню и фильм, и реакцию на него)".

27 января 1936 года в "Правде" были опубликованы "замечания Сталина, Жданова и Кирова" об учебниках истории и соответствующее постановление. А 8 августа "Правда" напечатала поистине судьбоносную статью (соответственно, носившую характер руководящего указания) "Привить школьникам любовь к русской классической литературе". Впервые открытым текстом было сказано о царивших на протяжении полутора десятилетий в советских школах обкарнивателях и вульгаризаторах, что "...пытаются сводить всю сложность и всё значение творчества того иного писателя к элементарной классовой характеристике...", обосновывалась необходимость "повести решительную борьбу с теми "теориями", которые сводят всё богатство нашей, а заодно и западной литературы, к бессодержательным формулам". Далее статья совершала фундаментальный переворот в сознании миллионов людей, не меньший, чем в своё время знаменитое сталинское "Головокружение от успехов": "Именно в наше время творчество Пушкина получило наибольшую популярность. Только

освобождённый от ига капитализма народ по-настоящему оценил Пушкина. Советская страна готовится торжественно отметить столетие со дня его смерти. Коммунистическая партия и правительство делают всё необходимое для продвижения произведений Пушкина в самые широкие массы... Народ, его язык, его характер и эпос – вот та почва, в глубину которой уходят корни пушкинского гения.

Нельзя больше терпеть, чтобы в школе извращали преподавание художественной литературы”.

Трудно переоценить значение этого документа для школьников, окончивших несколько классов или только-только севших за парту. Первоклассник Вадим учился уже по совершенно иной программе и иным учебникам, чем более старшие ребята. И здесь как нельзя кстати вспомнить о столетнем юбилее “вечно печальной” пушкинской дуэли 1937 года. Это было, по сути, в о с к р е ш е н и е Пушкина для всего Советского Союза – бывшей Российской Империи. Кожинов вспоминал, “как с упоением читал и перечитывал... целиком, с первой до последней страницы, посвященный Пушкину номер знаменитого тогда детского (мне ведь ещё не исполнилось в то время и семи лет) журнала “Мурзилка”: многое из него и теперь могу воспроизвести наизусть (это писалось уже в год 200-летия Пушкина, в 1999-м. – С. К.)... И заново прививаемые с самого раннего возраста поклонение и любовь привели к тому, что для людей моего поколения (и, разумеется, последующих) Поэт стал воистину близким...”

Зимой того же года Михаил Михайлович Пришвин, который через десятилетия станет одним из главных персонажей кожиновских литературных исследований, запишет в своем дневнике: “Историческая цепь. Амнистия исторической личности (постановление о преподавании истории) – явление того же порядка, что и стахановское движение, и вся “жизнь стала веселее” – таким образом общество вступает теперь на тот самый путь, который мне лично открылся как выход из тупика... Слова “родина”, “Великороссия”, мелочи быта вроде ёлочки и т. п., принимаемые обывателем “весело”, имеют не меньшее рабочее значение, чем на войне пушки и противогазы... Итак, по всей вероятности, жизнь будет делаться всё веселей и веселей вплоть до войны...”

И тут уж к слову: читая в “перестроечные” годы о “тотальном одичании в тридцатые” (как сформулировал будущий кожиновский постоянный оппонент Сергей Чупринин, ничего не изобретая, а лишь выражая то, что приобрело характер массового поветрия, преимущественно среди людей либерального или, как они тогда говорили, “демократического” умонастроения, волей-неволей задашься вопросом: как в этом “тотальном одичании” воспиталось целое поколение (крайне неоднородное, состоящее из сложившихся в будущем яростных идейных противников), многие представители которого фактически сформировали культурную ауру 1960–80-х годов XX столетия...

* * *

Кожинов любил вспоминать – из каких разных пластов формировалось его сознание, пластов, складывавших саму жизнь тех самых “одичалых” лет.

Он вспоминал, как в раннем детстве одна из бабушек привела его в храм, где мальчишка отстоял литургию, а потом поделился своими яркими и необычными впечатлениями с отцом, после чего от отца последовал категорический запрет, обращенный к старшему поколению, приобщать сына к религии.

“Но врезалось в память одно видение. Зимним вечером я шел с домработницей Нюрой, которая играла также роль няни, по переулку недалеко от дома среди белых стен из снега, который тогда увозили только с центральных улиц – в переулках же дворники в течение зимы возводили вдоль тротуаров высокие снежные стены, благодаря малочисленности автотранспорта. И вот в обрамлении этих светящихся даже в вечерних сумерках стен предстал также белый ещё сохранившийся (действующий) храм, над входом в который – загадочный лик Богородицы, освещаемый лампадой. Это было очень сильным и глубоким впечатлением, своего рода неоспоримым свидетельством существования иного мира...”

И ещё одно – многократно повторявшееся – соприкосновение с тайной. Рядом с моим домом – сквер с поэтическим названием Девичье поле. Фонари

на нём были тогда очень редкие и тусклые, и в морозные вечера со всей силой светилось звёздное небо. Я ложился спиной на санки, подолгу глядел ввысь, и это завораживало. Разумеется, я не знал тогда кантовское изречение о звёздном небе над нами и нравственном законе внутри нас, но, как мне кажется, нечто близкое к сему чувствовал...”

Ощущение вечности органично совмещалось с ощущением ежедневной современности, вызывавшей не меньший восторг. Походы на Выставку достижений народного хозяйства, демонстрации на Красной площади, лицезреть которые, Вадим, приведённый отцом, видел и неподдельное веселье собравшихся, которые “пели, танцевали и плясали под музыку множества оркестров, баянов и гармошек. И даже перед Мавзолеем в шестии на Красной площади не было никакой тупой парадности, никакого раболепия”...

И отдельная радость – письма из “Пионерской правды”, куда он посылал свои первые стихи и с которой делился детскими мечтаниями.

“12. XI. 1940.

Здравствуй, Кожинов!

Ты не написал нам своё имя, поэтому мы обращаемся к тебе по фамилии. Не забудь указать имя в следующем письме.

Ты мечтаешь стать военным. Это хорошо. Старайся лучше учиться в школе, а когда кончишь, пойдёшь в ряды Красной Армии. В нашей стране приятно мечтать, так как все мечты могут стать действительностью. Очень возможно, что через несколько лет ты уже сам будешь слушателем академии им. Фрунзе.

Желаем тебе хорошо учиться и быть дисциплинированным.

С приветом. Бурмистрова”.

“9. 4. 1941.

Здравствуй, Вадим!

... Сотни ребят присылают в “Пионерскую правду” свои стихи, а в газете мы помещаем самые лучшие стихи ребят. А твоё стихотворение, хотя и написано для твоих лет неплохо, но для газеты не подходит. Советуем тебе направлять стихи в журнал “Мурзилка”.

... 1939 год. Девятилетний Вадим присутствует при ожесточённом споре своего отца с одним из братьев матери – Владимиром Васильевичем Пузицким. Предмет спора – советско-германский пакт о ненападении. Валериан Фёдорович пытается убедить своего родственника в государственной мудрости руководителей СССР, подписавших этот документ. Владимир Васильевич жёстко отвечает ему, настаивая на их близорукости и непонимании происходящего: Гитлер всё равно нападёт, ни о каком его миролюбии речи быть не может.

Об этом пакте, вокруг которого будет множество слухов и политических спекуляций, Кожинов напишет уже в то время, когда будут опубликованы многие документы, свидетельствующие о правоте в той беседе его отца. Но однажды Вадим Валерианович специально подчеркнул, памятуя тот давний спор, что “жизнь сложнее любых моралистических схем... Критические настроения и разговоры – это одно, а реальное жизненное поведение людей – совсем другое. Можно было бы привести множество фактов, доказывающих, что *конформист* Валериан Фёдорович не был – в своём реальном бытии – в большей степени приспособленцем, чем споривший с ним Владимир Васильевич (скорее даже наоборот...)”. Один подобный факт он и привёл, когда вспомнил свой разговор с отцом, который как о чём-то само собой разумеющимся говорил, что никакого социализма в СССР нет, а есть самый настоящий государственный капитализм.

Начало войны семья восприняла, как миллионы других семей. В домашнем архиве Вадима Валериановича сохранился отдельный листок, на котором он, будучи, очевидно, уже старшекласником, воспроизвёл по памяти приметы тех страшных дней.

“22 июня было воскресенье. Радио у нас не было, и поэтому мы оставались в неведении. Утром пошли втроём гулять в парк, – Гарик (младший брат Вадима Игорь, родившийся в 1939 году. – С. К.) остался дома с прислугой Таней. Был пасмурный день. Мы шли по главной аллее, и вдруг навстречу почти выбежал пожилой человек странного вида:

“Граждане, случилось несчастье, Германия напала на нас!”

Мы приняли его за сумасшедшего и с опаской пошли далее. И вдруг слышим: из репродуктора вылетают обрывки слов: “Севастополь, Киев, Минск,

бомбежка...” Побежали к автомату, звоним бабушке. Сквозь рыдания (Тэд в 77 км от границы в Болохове) слышим подтверждение слышанного. Идём домой. Мать в тревоге, отец сокрушается о долгой войне, я удивлён, как Германия осмелилась напасть на нашу “тысячу раз непобеждённую страну”! (Наверняка, перед глазами мальчишки в эти минуты пробежали кадры разгрома псов-рыцарей на Чудском озере из “Александра Невского”. — С. К.). Их разобьют — я уверен. По дороге слышим речь Молотова: “Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами”. Через два дня тревога. Сидя в подвале, я не верю, что тревога настоящая. Действительно, на другой день узнаём — учебная. Месяц живу на ст. “Заветы Ильича”. Карточки с первых дней, неизвестность положения. И вот в ночь с 24 на 25 июля тревога. Теперь уже в подвал доносятся гром и выстрелы. Утром в окно виден горящий дом и красные отблески зарева видны на стене. На улице разрушенные и дымящиеся дома. Каждый день дневные тревоги с 2-х до 4-х, а вечером заблаговременно, забрав чемодан, уходим в соседний 10-этажный дом, в убежище. В 4 утра отбой — идём домой, загадывая — цела квартира или нет. На земле — чёрные воронки зажигалок — в небе аэростаты. Хожу по дворам, собираю подарки: стабилизаторы, корпуса порушенных бомб”.

А уже через много лет Кожин так вспоминал о происходившем в те дни: “В первое время, пока не была налажена противоздушная оборона, город претерпел очень значительный ущерб, о котором сейчас мало кто имеет представление. Множество жилых и производственных зданий были разрушены мощными фугасными бомбами, а “зажигалки”, как их все называли, вызвали массу пожаров. Навсегда осталось в памяти: перед рассветом я с родителями и младшим братом... выхожу из надёжного бомбоубежища в подвале двенадцатиэтажного дома, а на соседнем, строящемся здании деревянные леса полыхают столь ярко, что светло как в разгар дня”.

Семья во главе с отцом, получившим бронь, как ответственный хозяйственный работник, была эвакуирована в Ашхабад. Там Вадим возобновил учение в школе, оттуда писал письма бывшему в постоянных разъездах отцу. В письмах — сообщения о школьных успехах, о занятиях по военной подготовке, об уроках по шелкопрядству и туркменскому языку (который Вадиму совершенно не давался). И, конечно, стихи.

Кстати сказать, стихи писал и его отец. Самодельные, подражательные поэтам Серебряного века. И был в семье еще один человек, увлекавшийся стихописанием, о котором речь впереди.

В Москву они вернутся в 1943 году.